

Под стенами Карфагена

Я убежден, что в нашей стране почти нет недоступной информации. Но она доступна не бесплатно. Бесплатно даже печать под бумажкой, уже написанной и подписанной, не легко получить. Разве в собесе, где с клиента явно нечего взять.

Корысть сильнее, чем инерция ведомств и канцелярий, хранящих свои секреты. Мы узнаем по НТВ о проектах закрытия НТВ, кажется, еще до того, как этот проект лег на стол президента. Но та же корысть закрывает информацию от нахалов, норовящих получить материал, ни копейки не заплатив.

Карамзина как-то спросили: что устойчивее всего в России? Великий историк ответил: крадут. Сегодня крадут информацию. Ее не дают, а продают и покупают из-под полы. И хозяева информации берегут ценный товар.

Энтузиасты закрытости ссылаются на государственный интерес, на государственную тайну и т.п. Но государство не заинтересовано в загрязнении естественной среды. Заинтересовано ведомство, которому спокойнее не замечать неприятных проблем, заинтересована дирекция предприятия и т.п. Директор выставляет охрану, а могущественное ведомство возбуждает дела об измене родине. Что оно отстаивает? Интересы отечества или его превосходительства? Щедрин писал, что эти понятия в России часто путались. Путаются они и сегодня. Ведомственный интерес заставляет судить экологических активистов, а корысть – красть и продавать канцелярские секреты. Сами охранники продают своих патронов.

Есть мнение, что Путина взорвали "Куклы". Я не думаю, что сравнение с крошкой Цахесом было решающим мотивом. Карнавализация власти не мешает властвовать, за триумфальной колесницей Цезаря шли легионеры, распевая частушки:

Вот едет лысый развратник,
Берегитесь, римские матроны!
Вот едет жена всех своих друзей
И муж всех римских матрон!

На японских заводах выставляется чучело хозяина, которое сотрудники, недовольные хозяином, могут бить по щекам. "Куклы" – нечто вроде таких японских чучел. За "Кукол" еще никого не убили. Так же как никого не сажали за диалоги Ленина с Железным Феликсом и Чапаева с Петькой. Сажали – за "Хронику". Убили – Холодова.

Верховной власти трудно примириться с другим: что Гусинский умеет покупать канцелярские тайны и извлекать из этого выгоду. Причем НТВ нельзя замочить в сортире. Это не кустарь-одиночка. Это организация, система. Угрожает ли она отечеству? Или только его превосходительству? И как его превосходительству бороться с духом дикого рынка, веющим всюду?

Рынок утвердился в России тотально, для него нет святынь. Частной собственностью стали честь, совесть, должность – гаишника, судьи, прокурора; и все продается: русский рынок самодержавен. Между тем на Западе это конституционный монарх, и есть сферы, в которых он не властен. В дальнем зарубежье взятка – преступление. Даже проехать на служебном самолете по личному делу – коррупция. Судебные власти действительно независимы и т.д. и

т.п. Перестраиваясь на мнимо западный лад, мы незаметно вернулись к древнерусскому кормлению воевод и к древнерусскому же пониманию высшего авторитета: "а жаловать мы своих холопей вольны есмы, а казнить их вольны же есмы". Виртуальный предел развития – старый поединок деспотизма с воровством.

Можно спорить, хороша ли западная модель сама по себе. Но бывает модель первого, второго, третьего и даже четвертого сорта. Единственная свобода, которая у нас более или менее состоялась, – это свобода прессы. Она могла бы быть получше, но остальные власти (и законодательная, и исполнительная, и судебная) еще хуже. К несчастью, и свобода прессы чуть держится. Ее давят извне, ее разъедает коррупция. Та самая, с которой пресса борется. В обществе всеобщей коррупции не может быть некоррупцированного института. Появляются фонды, которые за хорошую плату сбивают со следа любое разоблачение, смешивают с грязью конкурента, возводят на пьедестал ничтожество. Рушится солидарность, которая в первые перестроечные годы сближала журналистов. А между тем без известной доли солидарности не может устоять никакой бизнес.

Свободная мысль никогда не дует в одну дудку. Разговоры о единой русской идее – или недомыслие, или осознанный путь к старому порядку, когда журналист был лакеем ЦК. Но спор западников и славянофилов не помешал их общему участию в крестьянской реформе. Спор не мешает солидарности, если это корректный спор. И стоит рассказать, как я пришел к парадоксальной мысли: стиль полемики важнее предмета полемики.

Предметы важнее сегодня-завтра, а стиль полемики, установившийся в английском парламенте XVIII в., стал основой парламентаризма. Парламентская драка, парламентское хамство – свидетельство, что парламент еще не стал стилем. И лучше, если стиль корректной полемики утвердился до того, как учрежден парламент. Тогда это учреждение не покрывается срамом. Стиль спора неозападника Степуна с неославянофилом Трубецким мог бы стать образцом для российского обихода. Но все перечеркнул Ленин, и мне пришлось учиться заново.

Первым уроком был незначительный эпизод. Зимой 1961/62 года журнал "Вестник древней истории" заказал мне статью о вульгаризации марксизма в антирелигиозной пропаганде. Я быстро разобрал несколько образцов глупости. Но заказчик, г-н Дилигенский, был недоволен тоном моей полемики. Ему хотелось вежливости даже в разговоре с идиотами. Эта реакция меня обрадовала: значит, подул ветер перемен; значит, ленинский стиль полемики перестал быть образцом. Я с готовностью обещал все переделать и с энтузиазмом стал писать, как в начинавшемся самиздате, своим собственным языком. На этот раз Дилигенский был доволен, но статья не пошла: что-то неуловимое обеспокоило более высокое начальство. Это был второй урок: стиль связан с идеологией, и возможен стилистический подрыв основ, стилистическая несовместимость. Впоследствии об этом писал Синявский, писал Бродский.

Более серьезным оказался спор с Солженицыным, начавшийся в 1967 году и тянувшийся, с перерывами, довольно долго. Я понимал, что Александр Исаевич – корифей в противостоянии советской системе, но не мог согласиться с его идеями. Ко мне приходили друзья, уговаривая не спорить с Солженицыным. Я был убежден, что спор необходим, но спор, который не помешает солидарности в борьбе с врагами свободы, корректный спор, спор без ненависти, без желания оскорбить, растоптать противника (как старался Ленин, даже если речь шла об эпистемологии Маха). Словом, я понял, что нужен новый стиль полемики, но очень трудно было его выдержать.

В те же годы я вернулся к исследованию Достоевского и задумался, почему "Бесы" не убедили современников. Меня поразила фраза, оставшаяся в письме, но сконцентрировавшая все то, что оттолкнуло первых читателей: "ударить западников окончательной плетью". История – клубок

неразрешимых противоречий. Их можно смягчить в диалоге, но окончательное решение – призрак, влекущий в пропасть "ликвидации кулачества как класса" и Холокоста. В одно прекрасное утро я вдруг понял:

"Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в битву за добро, за истину, за справедливость, – и так шаг за шагом до геенны огненной и Колымы. Все, что из плоти, рассыпается в прах: и люди, и системы. Но дух вечен, и страшен дух ненависти в борьбе за правое дело. Этот герой, окруженный ореолом подвига и жертвы, поистине есть князь мира сего. Он увлекает, он соблазняет малых сих (и даже больших, по человеческому счету). И благодаря ему зло на земле не имеет конца" (написано в 1971 г.).

Мой старший друг, Л.Е. Пинский, говорил мне, что не понимает, почему я вымарываю сильно написанные страницы. А я боролся с демонами полемики. Я показывал текст друзьям, я показал его наконец соседу, покойному Э.Руденко, горячему поклоннику Солженицына, с просьбой пометить, что кажется ему оскорбительным, недопустимым, и учел его замечания. На следующем туре полемики это оказалось ненужным. Я достаточно глубоко понял, что все искатели истины составляют некое братство, и ожесточение, ненависть в этом братстве недопустимы.

К сожалению, масса советских журналистов (ставших сегодня российскими журналистами) не прошла моей школы спора. Масса пассивно подчинялась линии партии и так же пассивно подчинилась нравам желтой прессы. Черносотенцы спекулируют на этнической агрессивности, либералы – на клубничке. И обе стороны спекулируют на жареных фактах, на сенсации, на компромате.

Редакторы ссылаются на то, что не дело СМИ воспитывать читателей и зрителей. Так действительно было в прошлом. Воспитанием занималась семья, школа, церковь, а ярмарочный балаган развлекал. Но нынешние многотиражные и электронные балаганы оттеснили и школу, и церковь, и даже бабушек, рассказывающих сказки. Целостность культуры оказалась под угрозой. Если СМИ не возьмут на себя некоторых функций, действительно чуждых ярмарочным шутам и ярмарочным глашатаям, процесс разрушения может очень далеко зайти. Карл Поппер, создатель теории "открытого общества", не может быть отнесен к его врагам, но в последней своей статье, своего рода завещании мыслителя, он писал, что телевидение, – не говоря о других разрушительных силах, – способно погубить современное общество. Примерно в этом же духе высказывались Гадамер, Энциенсбергер, Иоселиани (я на них ссылался в своей книге "Страстная односторонность и бесстрастие духа"). И вот что замечательно: Поппер, безоговорочный противник цензуры, ставит вопрос: чем заменить цензуру? И призывает брать с журналистов Гиппократову клятву: не вредить!

Разрушительные силы современности – глобальная проблема. Но на Западе есть что разрушать, есть прочная традиция трудовых навыков, деловой добросовестности и т.п. На несколько десятков лет ее хватит. У нас, после крутых ломок, после запомнившейся миллионам людей лагерной заповеди "умри сегодня, я умру завтра", положение гораздо острее. Мы хотим от владельцев информации, чтобы они не скрывали того, что им невыгодно, чтобы они честно рассказывали о болезнях, с которыми не умеют бороться, чтобы они ставили под угрозу свою карьеру во имя высокого чувства ответственности – но откуда брать эту ответственность, эту честность? Чему учат фильмы, передающиеся после "Гласа народа"? Какие чувства будит реклама?

Пишущий человек кровно заинтересован в свободе слова. Но что такое свобода? Возможна ли одинаковая свобода для разных уровней нашей воли? Если жажда наслаждений, величия, славы, любви, истины стоят на одном уровне, воля оказывается в тупике, как у Ставрогина:

делаю доброе дело и испытываю удовольствие, делаю злое дело – тоже приятно. В конце концов, становится невыносимо скучно, и Ставрогин вешается. Единственный выход из порочного круга воли – восстановление иерархии высокого и низкого, восстановление дисциплины "материально-телесного низа" во имя духовного верха, прислушивание к нашему глубокому сердцу. Древняя свобода пала, когда господствующим мотивом поведения стало удовольствие. Новую свободу восстановили люди с твердым различием верха и низа.

Во имя чего чиновник должен быть честным? Во имя Божьей воли? Будущего наших детей? Но "после нас хоть потоп". "Миру ли провалиться или мне сейчас чаю не пить? А я скажу, чтоб мир провалился, а мне чаю всегда пить". Такие ответы нетрудно найти в словаре цитат.

В обществе стремительных перемен шатается и рушится то, что должно оставаться неизблемым, – "ценностей неизблемая скала". Восстановление и обновление этой шкалы – дело каждого человека, где бы человек ни работал – в науке, искусстве, педагогике или СМИ. Я повторяю эту простую истину с таким же упорством, как некогда Катон повторял: "Carthago delendam est". Перед нами Карфаген коррупции, Карфаген нравственного распада. Его нельзя взять штурмом. Но нельзя медлить с осадой.